

КПДКД

Озадачившись вопросом начать исследование новое и весьма способное заинтриговать современные мистически настроенные круги молодёжи, решил я поподробнее разузнать о мировых сподвижниках и продвиженцах подобного направления в деятельности. Предо мною самым распрелестным образом лежала целая череда величайших фамилий и имён, но, не располагая столь же величайшим объёмом времени, я вынужден был выбрать из всех них лишь кого-то одного.

И вот, выбор мой пал на представителя местных *le propriétaire foncier de village*, проще говоря, сельского помещика - не то, чтоб мелкого, однако ж и не крупного помола, с земель коего ежегодно получали мы ни много ни мало, а двадцать тысяч пудов зерну ржаного, тысячи полторы мешков зерну пшеничного, высшего сорту, да льну ещё тканей готовых аршинов по восемь иль девять сотен в полотнах домотканых с кустарного производству, налаженного у барина в приусадебном хозяйстве. Тем он, собственно, и кормился.

Но сельская жизнь образа патриархального была бы скучна и, верно, виделась ему невольно бессмысленной и провинциальной, далёкой от роскоши дворцовых увеселений Петербурга и царских интриг, если бы занятием любимым не разрешил барин в годы младости своей бурной избрать науки толка оккультного, широко продвигаемые в ложах тайных сообществ, оплетающих, как известно, своей конспирационной паутиною, версту за верстой просторы Российской Империи, заглядывая даже в такие медвежьи углы, коими, всенепременно, явились бы взору представителей благородных *des couches nobles* и окрестности нашего глухого городишки, не от хорошей, однако ж, жизни основанного в уральских предгорьях *par messieurs scientifiques* Татищевым и де Гениным чуть менее, нежели с полтора столетия уж как тому назад. И в сих, упомянутых мною сообществах таинственных культов, отысканный барин даже всевеличественно удостоен был высокого звания *le maître* и знатока сил сторонних, ведомо, представляющих опасность немалую для ума неподготовленного и непосвящённого, иль же гибельных для душ чистых, за помазанника нашего престолонаследного радеющих.

Впрочем, понять барина можно было и проще, безо всяческих тех масонских премудростей. Крестьяне пред ним ниц падали да дрожали со страху, он лишь посмеивался над собственным сложенным народной молвой образом, да с довольствием преогромным, вестимо, пользовался

всеми открывавшимися с этого образу преимуществами. Помещика величали по паспорту Пётр Игнатъевич, а за глаза, кто - авелитом, кто - альбигойцем, кто - манихеем, ибо именно в этих течениях и бывали, по слухам народным, сокрыты глубинные корни, как говорят в столице, *la société maçonnique secrète*, куда, по сути дела, и входил Пётр Игнатъевич. Хотя без пущих доказательств голословная молва *du peuple* мнится мне всего лишь пустым сотрясанием воздуха, мелкой рябью проходящим по поверхности тёмного ума всенародного, ищущего себе забаву в слухах, сплетнях и домыслах ровно настоль же, насколько сей дворянин искал себе забаву в ритуалах сфер вечных духов, шифрованных заклятий, алых свечей и замысловатых пентаклей, так что с подобной нетипической позиции ближайшего усмотрения барин и мужик оказывались до поразительного подобными друг другу. К слову сказать, Пётр Игнатъевич был родом из мелкопоместного и, пожалуй, ещё больше измельчавшего за последние годы дворянского роду.

И вот сейчас я, покрикивая на кучера, да указывая тому стегать лошадей покрепше, нёсся по кособоким русским дорогам, не делавшим принципиальных исключений ни в одной деревне, в том числе и в поместье, куда я имел честь направиться, прозванном Мелихово-Чухонеевкой. Поименована так деревня сия была в честь основателей своих - кругосветных путешественников, фамилии коих являлись, как следовало из названия, Мелихов и Чухонин. Излазив пешим ходом почти *toute la Terre*, сии два друга-товарища решили было поселиться на старости лет в здешних краях отшельниками в тесных хижинах-сторожках, отстоящих подальше от суетного мира столичной цивилизации, точно бы согласившись на добровольную ссылку в одном из самых популярных регионов *la province*, куда в былые времена стеклось немало беглых крепостных, попав под новую кабалу металлургического услужения дому Демидовых. Однако и не желая и возвращаться к прошлым господам, крестьяне, конечно же, подавали сиим своим старым помещикам отменный урок, выказывая оных отнюдь не в лучшем свете среди прочих, даже и мелких, родов дворян.

Мелихов и Чухонин же просто немало поотвыкли от цивилизации за долгие годы своих скитаний, что и послужило немало их невозвращению в юдоли огней и *des bals* крупных городов. Прошла совсем лишь невеликая доля времени, и тогда помаленьку да понемногу вокруг отшельнического поселения принялись отстраиваться избы всё тех же беглых крепостных, прибывших из иных регионов нашей необъятной Империи, и годков этак десятка через три вкруг обители былых путешественников возвысился даже баркий терем.

Так, за измышлениями, мечтаниями, представлениями и воспоминаниями, мы с кучером почти незаметно подобрались к особняку Петра Игнатьевича, разве что традиционные ямы да колдобины с ухабами напоминали мне, с завидной регулярностью отдаваясь болью в копчике, о том, что странствую я по тропам *de ma Patrie*. Надобно было отдать должное и экономной нерасточительности и бережливости хозяина поместья во всём, что касается содержания своих крестьян: избы вокруг его усадьбы зрились мне зело неухоженными - с потемневшими срубами полусгнивших круглых брёвен да натянутым на окна вместо стёкол ветхим бычачьим пузырьём мутно-непрозрачного облику, да ещё соломенными крышами, обращёнными бегом времени в сущий кормовой силос и прохоженными насквозь во многих местах мелкими красноглазыми домашними вредителями полей да степей, *c'est-à-dire les souris*.

Зато барская изба высилась над скошенными хижинами крестьянскими неимоверным трёхэтажным особняком из дерева, блестящего так, словно было оно искусно остругано местными “левшами” лишь намедни, да расписано по всей поверхности промыслом народным под гжель с хохломою, будучи изукрашено изразцовой облицовкою вокруг ставен наипрекраснейшими образцами зодчества древесной резьбы. На крыше терема на высоком медном шпиле с флажком восседал красный, напомаженный суриком железным, *le coq* с флажком и облика почти что живого, детально отлитый из чугуна, вестимо, под особый барский заказ в соседней Оренбургской губернии, на тамошнем заводе, что в Златоусте значится, иль же у нас, в Каслях губернии Пермской. Каждое бревно терема было изукрашено всевозможными красками, белилами да румянами, прямо как на свёкольных щеках любопытно принявшихся поглядывать на мою выдавшую виды карету конопатых симпатичных деревенских девок, или, на благородный манер, *la jeune fille sympathique du village*, бегавших босиком по хлюпающим лужам, лишь едва приподняв мешковатые юбки, дабы не забрызгаться, и старательно обходя *des verrats*, мечтательно полураскисших в полном забытье среди луж в нескончаемой радости оттого, что снизошедшие вечер осенние ливни принесли им новые прохладные и сырые постели для полуденного сна.

Стоило мне лишь едва покинуть карету - и вот уж створки помещицких ворот пригласительно приотворились. Верно, сам барин заметил меня по скрипу и грохоту ухающих на ухабах колёс, хрипловатым окрикам старого кучера да ещё самодовольному ржанию тройки *de mes chevaux bais*, призакупленных на позапрошлогодней

ирбитской ярмарке ажно за добрых сотни три червонцев каждая. Барин, разодетый в атласный халат, алого, как лучи догорающего заката, цвета с примесью дымно-серых, верно, от повсеместно и безраздельно властвующей пыли, и пронзительно-пурпурных вставок, распростёр ко мне свои объятия, точно был я гостем, жданным им со издавних пор, хотя, к некоторому стеснению своему, стыду и терзаниям душевным, отмечу, что обстоятельства заставили меня столь торопливо вести приготовления к поездке в помещицкую усадьбу, что позорно *pour l'éducation noble* запамятовал я уведомить барина заранее о внезапном прибытии своём, что, верно, как снег на голову ему образовалось, не сочтя также, ведомо, за необходимость жизненную, отправить письмецо или, хотя бы, записку краткую с ближайшею почтовою оказией, чего ранее, *selon les règles de la convenances*, не позволял себе ни единого разу.

Письма, по обыкновению, привычен рассылать по неким случаям, подобным сему, на пропитанной специальным восхитительно-цветочным *l'eau de Cologne* дорогой французской бумаге с водяными знаками, притом ставя, всенепременно, жирную сургучную печать собственного же старинного дворянского рода на конверте, равно как и фиолетовую печать чернильную по соседству *avec le monogramme personnel*. Иные же письма, кои в более изрядной степени являли ценность по содержанию внутреннему, и даже ещё более преважного толку, предпочитаю донныне слать на телячьем пергаменте, кой в век наш прогрессивный открытий научных да повсеместного властвования светоча человеческого *de l'intelligence*, почитается изрядным ретроградством многими прочими господами, столь же прогрессивными, сколь и нигилистическими в своих измышлениях, сполна сдобренных чёрными семенами республиканских философических поветрий, на корню противных воли монаршей, а оттого яду уподобленных, медленно растекающемуся по жилам Империи, сердечно страждущей благоденствия всенародного, выраженного в непоколебимости правления Императорского дома семьи Романовых в России, ныне находящейся под присмотром царя нашего Александра Николаевича, по свершениям его достойным прозванного Освободителем.

Барин Пётр Игнатьевич вскинул руки долу, широким жестом пригласив меня в дом, и ажитированно воскликнул, карканьем выкрикивая слова, доносящиеся откуда-то из-под двойного подбородка и вылетающие прямиком из толстогубого растрескавшегося рта на скомканном блине помятого и заспанного лица:

- Проходите, проходите, *le monsieur*, я как раз ожидал Вашего прибытия с минуты на минуту!

- Да как же, *le seigneur*, Вы ожидать меня в гости изволили, отколь предупреждены мною заранее не были, даже отнюдь наоборот?! - поинтересовался я у хозяина особняка, испытывая небывалого свойства и широты изумление и смятение ума.

- Так это уж мне одному ведомо, откуда. Но Вы проходите, проходите. - помещик хитро посмеивался, хотя улыбка его и тонула в худо расчёсанной бороде, где застряли несколько капустин, вестимо, из обеденных щей, и торчал тёмно-зеленоватый хвостик лаврового листу.

Особняк при ближайшем знакомстве изнутри оказался ещё грандиознее, чем виделся снаружи. Он не уставал поражать меня сиянием отполированных до блеска кресел, пёстрых и пушистых персидских ковров, распрекрасной отделкой стен и небывалыми для незнатного рода в вообще-то захудалой деревеньке позолоченными портьерами, мраморными статуями, подделанными под *le style antique* мастерами не столь *par les antiques* - почему-то я был в этом целиком и полностью уверен, и статуи сии стояли в закруглённых полуцилиндрических альковах, изнутри расписанных сценами из былинной русской жизни: шапкозакидательскими бородами боярами, княжескими одеяниями, тройками крепкого телосложения богатырей в начищенных стальных латах, сверкающих на солнце, тут же были скипетры, короны, орлы - *les jumeaux siamois* - как бы выразились в виду двухголовости оных некоторые современные медики из кругов аристократических, были здесь и прочие символы верховной монаршей власти, да и всего, что в сём особняке повсеместно присутствовало, куда ни обрати свой взор, поистине было не перечесть - от разнообразия начинало мельтешить в глазах, прямо как перед *par la syncope* - состоянием очень популярным и часто происходящим по любому поводу и даже вовсе без такового в среде петербургских мадемуазелей высшего общества. Сие, в известной степени, помутнение рассудка, как правило, поддавалось исцелению нашатырём, свежим воздухом и бриллиантовым ожерельем, вовремя переданным даме в качестве *du cadeau*.

Так же и все предметы интерьера барского терема панорамно казались гранями драгоценных камней, но стоило лишь на мгновение приглядеться - и на всём виделась печать абсурдной безвкусицы хозяина, но вместе с отсутствием во всём аляповатом стиле хоть какого-то намёка на гармонию, чувствовалась немалого размаха страсть барина к помпезности, вычурности, чинопочитанию и лизоблюдству, отдающая

даже, в некоторой степени, нездоровым душком его вероятной *de la pathologie psychique*, которую, впрочем, совершенно не дивно было приобрести, являя собой одного из самых активных и фанатично преданных участников тайных оккультных лож. Хозяин, разглядывая меня с весьма чванливым выражением на лице, лишь только стоило переступить порог его дома, указал на ближайшее из кресел и позвал прислуживавшую по дому крестьянку:

- Марыська, а ну-ка подай гостю местных яблок да винограду лозы с три-четыре. Да вина с моего погребу ковш налей десятилетней выдержки и мёду черпака с два, а то, ишь, прохлаждаешься тут безо всякого делу.

Горничная-простолюдинка, весьма, надо сказать, невзрачная из себя с виду и представшая обликом самого неряшливо-чумазого свойству, приземистого и какого-то уж слишком полусогбенного виду, как скромная старушка, хотя было ей на вид не более, как лет двадцать, понеслась выполнять просьбу своего покровителя, а я меж тем обратился к нему самому:

- Как Вы, барин, вероятно, сумели догадаться и самостоятельно, я к Вам прибыл по делу свойства таинственного, ибо стало мне известно, что до познания свойств мира в отношении всего *mystique et non connu*, вы охотник не малый, и не просто любитель, а, как у нас принято выражаться, *le vrai professionnel*. Что же до конкретных вопросов, приведших меня в здешние края, так, быть может, Вы сумеете, задействуя особенные умения, полученные в ходе таинств, церемоний и ритуалов, ответить на наиглавнейший среди всех вопросов, что я намереваюсь задать Вам: скажите, уважаемый, Пётр Игнатьевич, доводилось ли Вам в неких ваших ритуалах, в кои, всенепременно, посвящали на веку Ваше высокопревосходительство, верно, немало, слыхивать о некоем понятии толку *du transcendantal*, прозванного среди народа тёмного и непросветлённого, к которому по данному вопросу относится и Ваш покорный слуга, невесть что означаящим термином “междометие Улум”?

Было бы преприятно, отколь бы сообразовали Вы просветить меня также и относительно взаимосвязанных с оным междометием поползновений душ человеческих и умов. Не является ли знание сие тайным настоль, что Вы были бы не в состоянии поведать мне о смысловом наполнении такового, даже если бы и во всеведении находитеесь относительно сокрытых тайн жизни, о коих я столь дерзновенно осмелился вопрошать *du maître des sociétés secrètes*, то есть Ваше высокоблагородие?

- Вот так, сразу к делу! Уважаю практичных людей и их цепкий деловой подход! Сейчас всё больше водятся *les romantiques*, выросшие на дешёвых парижских новеллах, да душащиеся такой же дешёвой западной туалетной водой: всё у них ветры в голове гуляют, а о знании истинном задумываются нечасто, реже, чем следовало бы задумываться или, по мере крайней, чем я бы мог посоветовать им задумываться о таком. Несть числа им.

Всё бы им лишь пистолетами друг в друге дырки оставлять, по кабакам шастать, служить на Кавказе, да кадрить *des jeunes filles aristocratiques*. Впрочем, век таких беспечных молодых людей недолог, отколь Вы знаете, сударь, романтики сии, в коей мере ни были бы известны на всю Российскую Империю итогами творений стихотворческого поветрию, помноженного на воображение, воспалённое ветрами младости бурной, а всё на тех же дуэлях и с теми же французами порою век свой скоропостижный оканчивают. Сколь бы ни был величественен и гениален полёт их мыслей, признаваемых в кругах всезнающих столичных книгочеев да знатоков литературы русской, однако ж гибельная *l'extravagance* юных романтиков единомоментно всё перевешивает. Всецело рад, что Вы, сударь, не из числа оных мечтателей и строителей воздушных замков.

- Значит, мы можем приступить к делу, Пётр Игнатьевич?

- К моему повествованию о междометии Улум? Опасаюсь разочаровать Вас, но оно ожидает быть недолгим, как и век мечтателей, о коих лишь миг назад беседу вели. Я и взаправду слыхивал о сём междометии, да токмо ни в одно из таинств оно не входит. То ль слишком мелким считают такое, то ль напротив - слишком тайным. Есть у нас здесь, средь прочих поселенцев в Мелихово-Чухонеевке, человек один из монашествующих, *l'ascète-ermite*, что ведать об Улуме может поболее. В местном ските обитает. Тут я всё ради него, ради него лишь единого за деревней монастырь обустроил. Как пришед он ко мне однажды: бородища топорщится в разные стороны, как метла ведьминская, сам весь растрёпан, на ногах лапти худые, во времена ещё давние, поди, связанные да стоптанные, и то - кое-как надеты, рубаха домотканная грязная и лохмотьями вся висит, а сам-то он в ссадинах - какой-то юродивый иль нищий, одним словом - *la personne sacrée*, да и как падёт на колени прямо пред порогом моего терема. “Ой”, - говорит. - “барин, не вели меня гнать взашей, позволь лишь в деревне твоей селиться. Ведь место здесь, знамо, великое”.

Я, его слушамши, сам же всё заизмышляю: “Да какое уж там великое место, сюда за последнее столетие даже никто из крупных и

значимых *des fonctionnaires* не навевался, ни среди дворян, приближенных дому царя нашего, никто не заезживал, обитель мою трёхэтажную не посещал. Но, ведает судьба, всё меняется, да меняется, порою, не в лучшую из сторон своих, отнюдь: царь-то наш, батюшка, как пару лет тому назад уж велел долгу крепостническому крестьян пред дворянами саван заказывать, так с тех самых пор житья ни нам, ни крестьянам освобождённым не стало. Они, того и гляди, бунт подымут, барина на вилы посадят, восстав супротив непомерного оброку втридорога. Оттого и дворянам беспокойно живётся, и крестьянам в тяготу делается.

Ежели раньше крестьянин работал сперва на барина, а затем ещё и для себя ради, и всё возвращенное в собственном хозяйстве приусадебном вокруг *de la maison paternelle* для выгоды же собственной и пользы немалой имел, то отныне, мало того, работа его осталась, как прежде была, так ещё и средства с хозяйства своего на откуп личный барину откладывать должен. Ради откупу крестьянин и штаны последние с рубашкою, и даже лапти залатанные продаст, а всё на нас, помещиков, сердает окаянный мужик, что мы тяготы оные ему хомутами вокруг шеи затянули. А мы-то же здесь причём? Всё царь-освободитель делов-то натворил.

Ну да ладно, не станем разглагольствовать лишку. То ведь, поп местный в церквушке всё толкует народу, святотатство превеликое - о помазаннике Божьем худо отзываться, да токмо, грех на душу, мало я что-то верю словам проповедника, он, окромя своих Библии да Евангелия, и книг иных за жизнь всю не ведывал, мне же в *À la loge maçonnique*, бывало, такие тайны приоткрывались, от коих бедный священник наш местный, мелихово-чухонеевский, точно бы безумцем не похуже старца того навеки бы заделался.

- Возвращаемся в мыслях насущных к аскетствующему Вашему *au sage*, сударь. - решил я самую малость отвлечь помещика от потока изливающихся вовне сведений, излишних для ума моего в свете событий сложившихся, за сим немного пожевал губы, переложив ногу на ногу на манер западный, аглицкий, позволив себе опосля спросить у Петра Игнатьевича. - Отчего же Вы полагаете, что этот Ваш “святой отец” пригодным образом разбирается в делах столь, на первый взгляд, *de non les sacrés*, к коим я осмелюсь причислить, опасаясь навесить на чело своё гнев светлых существ вышних, и общую *le thème* разговору нашего - междометие Улум?

- Ах, да вот Вы, господин, слушать ли изволите-с, барина-то не перебиваючи? Так обо всём по порядку Вам и поведаю-с. Значит,

бросается мне тот юродивый в колени да и слово небывалое мне скорым таким шёпотом молвит под самые уши: “Не знатного роду я, да знавал на своём веку поболее многих знатных, полмиру излазил ходом пешим. Старец Чурисий меня величать. И, вот, наконец-то, именно здесь, в околице, сподобился отыскать я то, что за жизнь всю предшествующую углядеть тщился с возрасту дитячьего самого: в местах тутошних, прямо за деревнею, лаз имеется в мир иной. Ход тот не всякому приоткроется, а тому лишь, кто в душе его и духе прозрение великое хранить сподобится.

Ведаю, барин, слыхивал о подвигах Ваших на алтаре наук оккультных, да токмо акое мне соизвешно сделалось, о коем общества твои тайныя отродясь не сказывали, отколь и сами не ведают ничего сподобного. Ажно взалкаешь ты всем сердцем и душою, да и свожу тебя в тот мир иной, а отколь не взалкаешь - что же, буду сам в те места путь держать за знанием, мудрость величающую содержащем в краеугольном камне своём. Но упредить тебя должен: поход сей опасен, и посему не всякому барину приглянуться сподобен”.

Но сколь бы всё сие ни померещилось мне тогда и в самом деле удивительным, смысл истинный сокрыт не в том. Отвёл меня раз старец Чурисий в место, им указанное - часа три иль четыре было в ночное-то время - к тому самому ходу сокровенному, потаённому. Идём, а вокруг осень промозглая сыростью дышит, дует в лицо хладными шелестящими ветрами, подвывающими заунывными *par les fantômes* в чёрных кронах деревьев, вороны бесцеремонно со древ тех дальних крик подняли, да жёлтые с красными листья оземь бросаются, подскакивают и перекатываются с одного места на другое, аки испуганные мужики крестьянские, усердно бьющие челом пред судом барским. И так меня хлад сей октябрьский пронзил льдистыми иглами своими, ужаснув в мере столь зело немалой, что мыслями всеми унёсся я тотчас к возвращению в натопленный терем мой тепла и уюта, ратуя и хлопоча за доброго здравия сохранение да жизни вековой *la chance*. Посему ж понудил я Чурисия обратно в терем златоверхий меня сопроводить, да и впредь велел по делам страхолюдства подобного не тревожить.

- Что ж, барин, Пётр Игнатьевич! Мир дому Вашему, да и преогромных величин благодарствие от нас к Вам за дивное угощение хлебосольное да гостеприимство радушное. Могу ли я *du sacré* Вашего Чурисия повидать иль нелюдимым бирюком старец сей отрекомендовал себя, а оттого и гостей незваных привечать не соизволит? - я решил, что ничего нового, окромя услышанного, хозяин усадьбы уж сообщить вряд

ли сумеет.

- Людимый иль нелюдимый - кто же сподобится спрашивать старца о сём? Пока на моей он земле, вот пусть и живёт по правилам, мною же застановленным. Уж гостю-то доброму, наподобие Вас, отказать, верно, не посмеет, иначе невесело будет ему, измышляю я, и тогда уж никакой лаз в миры чуждые, чурисические, не позволит здравую доброго сохранить старцу. Пойдёмте со мною, сударь, уж извольте-с. - Пётр Игнатьевич развернулся спиной и, переваливаясь с ноги на ногу, как пожилая клуша, прошествовал к парадным воротам собственного терема. Наблюдая за помещиком со спины, я обратил внимание, что именно, как говорится, *de la position indiquée*, тот сильнее всего уподоблялся внешностью жирной сварливой старушке, вестимо, страдающей, в силу возраста своего, костяными наростами да полостей внутренних расширением на ногах, но уж всяко не походил он на самого себя - крепкого с виду и бодрого мужчину лет ранних пожилых, с едва проглядывающими со всяких мест идеально округлого черепу его витыми волосками, выбивающимися из-под давно нестиранного и засаленного головного убору, называемого светскими дамами *le bonnet*, а простолюдинками - чепчиком, и столь же чаще носимым дома в дамских кругах, сколь редко можно было наблюдать оный на экстравагантных мистически взирающих на жизнь *les propriétaires fonciers âgés*, к коим, несомненно, всецело можно было бы причислить и Пётра Игнатьевича. Впрочем, хозяин - барин, кто ж я таков, чтоб судить о причудах *la mode*, осуждая высокие вкусы русского дворянства, к коему всецело принадлежу и сам?

Свершив по Мелихово-Чухонеевке пешую прогулку, вместо конной, моциону ради, я ещё раз освежил в рассудке своём представления о хозяине здешнем. Повсюду громко покрикивало грозное чёрное воронье, прямо, как у Петра Игнатьевича в его рассказе недавнего времени, повсюду валялись пыльные зёрна, просыпанные, вестимо, с худых крестьянских мешков, а покосившиеся сараи в приусадебных хозяйствах этих милых сельских обитателей, ютившихся на тесных клочках земли, виделись мне готовыми повалиться на нас с барином со всяких сторон от легчайшего дуновения ветру, ибо доски крестьянских построек испокон веку обращены уж были в сущую древесную гниль и ветошь. Из подворотен пронзали нас сквозящие тоскою голодные взгляды отощавших и облезлых *des chiens* и провожали маслянисто кувыкающиеся подуставшие мысли ленивых *des chats* со свешивающимися патлами грязной шерсти, которую их хозяева, ведомо, и не думали отмывать за весь недолгий и безотрадный в сём поместье

кошачий век - мне мнится подобная нечувствительность и безразличие народа *vers le niveau du confort* своих домашних подопечных зверей в изрядной степени возмутительным дикарством, чего в обществе высшей аристократии усмотреть по факту *il est impossible*, за редким и повсеместно осуждаемым исключением.

По прошествии ещё невеликой толики времени деревня, состоявшая из нескольких десятков убогих и страшных дворов, закончилась, уступив пространство высокой и долго тянувшейся вдаль гранитной стене монастырского скита. *Le couvent* сей не сказать, чтоб был уж слишком велик - скорее уж как раз наоборот - он производил впечатление обиталища размеров зело небольших - однако же учитывая, что там житие вёл, по-видимому, один лишь старец Чурисий, для оног сие были воистину великие хоромы, величиною вторые в поместье после знатного особняку барина Петра Игнатьевича. К тому же скит обладал пред особняком одним немаловажным преимуществом, выраженным в гораздо большей прочности гранитных каменных стен по сравнению с древесными брёвнами барского терему. Мне подумалось, что *en hiver* в ските, должно быть, делается крайне зябко - и поёжился от хлада, сей же миг сотрясшего самое нутро моё. На крыльцо вышел сам отец Чурисий, всё указывало на то, что это именно он и был, и поклонился пред нами:

- О, барин Хорохорин прибыл да гость его безвестный.

Пётр Игнатьевич вздрогнул. Кажется, по фамилии без имени-отчества его здесь никто величать не осмеливался, что было простительно для аскетствующего святого отца и посему называть помещика по фамилии не воспрещалось.

- Что же привело таких господ в мой скромный скит, в мою обитель? Подперев фертом руки в боки, барин гордо выпятил грудь:

- Да вот, гость мой с тобою сговаривать возжелал. Я ему про мир твой тайный поведал да ход в него, что в лесу сокрыт. Вот и интерес возник к персоне твоей. Поведает гостю, что и почём с миром тем.

- Мир тайный - он на то тайным и зовётся. О, оно, конечно же, поведать-то поведаю, да только знайте, что так просто он не пред кем не отворяется. Как Вас величать-то, сударь? Аль ещё барин один?

- Аркадий я, Геннадьевич по батюшке, уж соблаговоли, *le vieillard sage*.

- Ась? Вы, Аркадий, верно, как барин мой, тоже всё иноземщину во снах видите, кланяетесь в ножки всему чуждому да забугорному. Так знайте - не дворянского роду я, посему ж на вашем, лягушачьем, не уразумею, хоть бы вы и разопнитесь здесь предо мною. Токмо на

родном языке сговоримся мы с Вами. - от этих слов старца мне и впрямь аж как-то неловко сделалось, я уж и поотвык от общества людей, свершенно не ведающих величественных и не знающих преград по красоте звучания музыкальных переливов французской речи. Но впредь избрал решением в разговоре с Чурисием избегать переходов на напевную речь жителей с берегов Сены, используя лишь фразы и слова вечно отстоящих вдали от западной культуры потомков южных полян, веками тому назад смешавшихся с прочими славянскими племенами и настырно перенимать опыт Запада не желающих.

- Ты, я полагаю так, сколь наслышан о тебе, и есть отец Чурисий?

- Чурисий, Чурисий. - сощурил и без того узкие глазки отшельник. Росту он был невеликого, волос на голове совершенно не имел, но зато носил патриархального облику седую бороду свойства и размеров самых препространных, кою же с младости, вестимо, и не состригал никогда вовсе, а оттого свешивалась она у старца гораздо ниже поясу, достигая самых колен его некоторым подобием клинышка отроконечного виду. Он был весьма и весьма глубоким *par le vieillard* в возрасте уже практически предвековом, одетым в самые простые одежды из серой крупнотканной мешковины, а на ногах же носил нечто наподобие грубых и давно стоптанных *des babouches*.

Но при всём том своим невысоким ростом, постоянно щурящимися подслеповатыми газками, задорно блестящими из-под чуточку припухших век, небольшим носом, и наоборот, не в меру крупными волосатыми ушами, долгой змеёй бороды он изрядно напоминал монаха, прибывшего из далёкого восточного полумифического Тибета - страны поднебесных гористых кряжей и непостижимых для ума тайн. *À l'Empire russe*, чей народ мало интересуется подобными вещами, ходило всё же предостаточно слухов да многообразных толков, ни единый из коих, при ближайшем рассмотрении, достоверным считаться не может.

- Отколь уж не покривить душой, батюшка, - ещё раз преклонился я перед стариком, в коем явственно чувствовалось нечто величественно-несгибаемое, чего напрочь лишён был Пётр Игнатьевич, а после продолжил беседу со стариком. - так меня более всего интересуется знание о тайном междометии Улум. Ако же естество являет оно из себя и при коих условиях достигнуто быть сподобно?

Старик с недоверием посмотрел на барина.

- Барин Хорохорин, позволишь ли мне собеседовать с гостем с глазу на глаз без твоего соучастия в вопросе его всемирном?

- Годно баишь, старик. Добро даю, ладно, собеседуй, како велишь с гостем моим, Аркадием Геннадьевичем.

- А Вы, господин, как собеседование сие закончить изволите-с. - обратился помещик ко мне. - Заходите-ка ко мне тогда соизнова: Марыська моя Вам чаю самовар заварит, вот и попьём с баранками да мармеладом с Ташкенту нынче привезённым. Эта *la servante* у меня же экая шустрая - всё зауспеть сподобится, уже ж и откупные выплатила. Тут, почитай, с отмены крепостничеству-то всего-ничего прошло, а она - ишь какова, меньше, ажели за два году управилась, а всё со двору барского уходить не желает. А то ль ей худо так что ли? Проживает в тереме расписном: тепло, хлеб-соль, разве что случается такая напасть, что клоп по ночам где заукусит в места мягкие да холёные, но токмо дело то всецело поправимое. - барину явно не давала покоя тема отмены *le servage* в нашем государстве, и прямо-таки зудела в его мелкопоместной и не слишком-то высокородной душе непрестанно и беспрерывно, куда уж поболее всяческих немалочисленных тайных сообществ, в коих имел *le bonheur - ou le malheur* - со издавних пор состоять помещик сей столь громко и антикоspirативно, что о том с сих же соиздавних пор и ведомо было всей околице Мелихово-Чухонеевки и даже за дальними пределами таковой.

Отец Чурисий, тем временем, указывал блестящими, как у синички, и, одновременно, пламенно-сияющими, как у филина, глазами на то, что должен я переступить порог монастыря и проследовать за стариком вовнутрь покоев его. Не сказать, чтоб внутри скита было слишком уж просторно - тогда бы кельи уподобились пиршественным залам древневаряжских ярлов, но нет, большую часть пространства келий занимали именно объёмистые глыбы стеного граниту, толщиной доходящие порою аршинов до четырёх, но зато, верно, неуязвимые для снарядов вражеских совершенно, что, всенепременно, уподобляло скит крепости. Отшельник запер толстую дверь, целиком выструганную *d'un vieux chêne*, чугунным ключом, что весу на вид был с четверть сотни золотников, и, провернув на два оборота, точно убоившись, что некто может зайти или подслушать, зажёл по углам комнаты факелы да керосиновую лампу вдобавок, про себя постоянно не уставая бормотать: "Междометие Улум его интересуется, ух, междометие Улум, ишь акой нашёлся такой". Усевшись на подстеленный соломкой деревянный ящик, служивший, по-видимому, вместо стула, Чурисий скрипуче пробубнил:

- Вы, Аркадий, верно ли, не ошиблись иль, быть может, где-то прозаслыхивал я не то - уж слух-то на старости лет совсем никакой, говаривали Вы про междометие Улум, нет ли?

- Да, совершенно верно, святой отец, именно оно меня и интересуется.

- я с нетерпением крутился на ящике, подобно школяру, которого строгий учитель не выпускает во время урока в *la toilette*.

- В случае сем Вы ведать обязаны: знание об Улум немалую опасность являет само по себе, а жели же применение ему найдено будет, так окажется знание ещё стократ опаснее. Я поведать Вам должен о вещи одной основополагающей, для жизней наших надобной. Без вещи сей постигать тайны междометия Улум и вовсе быть может престрашно. Скажу токмо лишь, что междометие такое начинает безо всякой на то воли выкрикивать всякой человек, постигший знание тайное. А отколь достигнет его физически, всем телом и душою дотянувшись, так станет тот человек не человеком лишь, а как бы неразличимым уже от Улум, слившись с оным воедино.

Именно сказанное мною величайшее оккультное сплавление души и телу в достижении знанию о междометии и заставляет человека кричать заместо “ой”, “ай” или “ай-яаа” громоподобное “Улум! Улум! Улум! Улум!”, чем-то напоминающее воркование голубя на чердаке или уханье кладбищенского привидения, это как уж и кому что более похожим скажется. Впрочем, и сам человек... А ладно, не будем о том рассуждать далее, а то неизвестно ещё, в какие дебри способны завести нас смутные измышления толку потустороннего. Что же Вам, господин, понять следовало бы прежде всего прочего, дабы дотянуться до знания о междометии? Всяческий малейший навык, что входит в нас с самых лет ранних существования от роду не остаётся без того, чтобы чуточку, вот на самую малёхую толику, сменить угол нашего взгляду на вещи и вещи всех вещей.

Польза, однако же, велика токмо лишь со всего нового, а любое повторение знания бывает, порою, и напротив - превредно, не всюду полезно, ибо всяк человек, многократно повторив то, что узнал единожды, может навеки закрепиться в уверенности собственной, позабыв, что всякое знание верно по отношению лишь к применимости в жизни, и на всякое знание найдётся другое уразумение, его сполна опровергающее. И то понимание будет столь же верно, сколь и первое - и столь же не верно в сей же час относительно любого другого знанию, его окружающего. Нет в мире правды и неправды. Мир состоит из сотен сотен правд и неправд, всякая из коих есть суть ложь прееликая, поскольку действительность совокуплена со всякою истиною и со всяческою ложью единомоментно, а посему становится неопределимой и нейтральной, почти безвкусной по природе своей - а дело именно так и обстоит.

Вкус же к жизни - это всегда искусство самообмана для того, чтобы

видеть прекрасное там, где никак, либо же отвергать ужасающее там же. По сути, жизнь - это и есть процесс самообмана, начинающегося в момент начала жизни и заканчивающегося в момент окончания таковой, и обман сей себя же постоянно переходит от одной сладкой лжи к другой, или, наоборот, от одной горькой лжи к прочей горестной и неприятной неправде - уж каков человек, как привык. Истина же вкуса не имеет - мы сами заставляем себя ощущать её вкус, но именно в этот самый миг, когда мы начинаем чувствовать вкус истины, она перестаёт быть таковой, обращаясь в нашу и токмо нашу личную правду. Именно в этом - весь человек, в этом вся суть его - не перестающая ни на мгновение врать самому себе и жить той ложью.

- Но как же извечные человеческие ценности, нормы культуры, заповеди - как? - вопрошал я у старца после сих слов его, почудившихся мне возмутительными без меры и точно безумными. Впрочем, Пётр Игнатьевич предупреждал меня ведь, что Чурисий - какой-то чудаковатый, юродивый, *faible d'esprit*.

- Все они хороши лишь по двум причинам: аль удобны, дабы в обществе обитать без каких-то особых хлопот и забот, аль в первозданности природы человеческой сокрыты и заложены в эту самую природу его. Но стоит лишь приподнять завесу той театральной ширмы, на коей всяк играет в человека, и там уже не останется совершенно ничего ценного, кроме самой возможности мира сего существовать. Лишаясь смысла вовсе, лишь обретаешь оный, ежели не остаётся никакой возможности задать и самый вопрос о смыслах. Когда теряется самый смысл задавать подобный вопрос, то понимание приходит, что суть жизни заключена в постижении жизненной сути, а любые вопросы о смыслах смысла же действительного не имеют. Сие чувству подобно озарения снизошедшего, суть коего в том, что жаждать прекращаешь искать любые смыслы, ибо поиски сии бестолковы: каков быть может смысл у самого смысла, кроме него же самого и какова может быть суть каждой вещи, кроме той сути, что вещью этой и является?

И то - лишь отражения ума делят вещи и сути их, в единении же все вещи и все сути едины и тождественны, несть числа им, бесконечно оно и никакowo единоверменно, хитросплетены и безраздельны, а оттого - делить сути меж собою - дело ума, но не мира, и от ума всецело зависит, кой узелок и вогнутость сопредставить искривлением действительного. Акий же образ и смысл обретёт - вариантов тут существует столь, сколь нет корпускул в Космосе всём - несть числа им также ж. Ибо правда такова, что каждый и тех узелков и искривление не есть иное, нежели

выгнутость ума, формой содержания одного определённого и ею же являющегося. Что же, спрашивается, людям прочим мешает поступать подобным же образом - теряя смысл обретать его, и они - напротив - часто предпочтут обрести таковой, потеряв понимание смысла всех смыслов?

А мешает им научение особое с возрасту детского. Сказывают им старшие: “Думайте так и сяк, иначе же помыслить изволите - будете бяки, ежели ж по научению нашему - то вы наки.” Вот и вся наука, в сущности, опыт меж поколениями передающая. Вот возмём недавно лишь властвовавшего повсеместно идеями своими Бенкендорфа Ганса Христофоровича, умов светлых немало посмутившего на веку дела своего. Он ведь говаривал что? “Самодержавие, православие, народность.” И пробовал бы при нём кто сговаривать иначе-то, вот и выросло целое поколение, воспитанное под им преподанном государству нашему лозунгом. И бедняги сии умственные полагать смеют, что сие есть и действительно неплохо, ибо патриотично, культура их, народ русский и прочее всё инаковое да засходное.

А что же сей патриотизм суть есть? Патриотизм есть тот крючок, коим-то же наш царь-батюшка, не к ночи будь упомянутым, Александр Николаевич, ловит таких вот самоотверженных народных простаков, цепляя их этим самым крючком прямо в мозг, вот прямо в мозг так, что те уж и соскочить до старости лет не посмеют, а отколь уйдёт удаль да бравада вся их молодецкая ко годкам-то их закатным, так и не останется ничего им, окромя как уповать на жизнь прожитую свою образом самообманным, да и покуда прибудет мудрость к оным, и тогда уж поубавится апломбу их кабацкого, что заставляет сих молодцев добрых горькую хлестать да кровь друг другу носом пускать, хвастаясь пред остальными сотоварищами, поскольку, ежели ты понял, чем и способом коим мир проживает, и сколь микроскопична да мелочна вся наша Земля-Землюшка пред силами всевеликими, что в просторах меж звёзд парят, то уж никогда не опустишься до мещанского жизни образу и того, что порой зовут храбростью, заставляющей бросаться грудью на шпаги и штыки - не храбрость это, но глупость человеческая. Таков Вам ответ мой стариковский, чурисийский.

Толку что с того, что погибнуть? Каков толк героям от их посмертных медалей, если им уж вовсе никак, и они токмо ж слились с миром? Герои то есть, а не медали. Каков вызов в том, чтобы просто погибнуть, ежели и так все будем там? Вековыми тропами лжецов государи пытались обмануть народ честной, а уж навывдумывали, навывдумывали - патриотизм, Отечество, смелость, ура, сражения,

воинская доблесть, войнушки мужеские. - с этими словами старец Чурисий поперхнулся и смачно сплюнул на пол, а опосля изволил кашлять ещё никак не менее *de deux minutes*.

- Да ближе к делу, святой отец. - подтолкнул я Чурисия вернуться к теме первоначальной беседы нашей, с коей и начались сии мудрствующие дебри тропиков и лиан. - При чём здесь сокровенная истина об междометии Улум?

- А междометие Улум очень даже здесь при чём. Когда люд некое новое знание вбирает вовнутрь, то даже ежели таковой весь многократно мхами разуму поверх порос в сведениях жизненных своих, оно всё ж сталкивает ядрышко малое в разуме сём, всё ж таки катит его в направлении том, иже готовы освободить для ядрышка того плотные туши знаний прочих, кишащих в разуме человеческом. И от знаний сих, а не столь от знания полученного, и зависит та направленность, в кою всё новое направляться будет, и та ячейка, та лунка, куда оно в окончании пути своего закатится, найдя применение, изначально и самому человеку неведомое, понимание заизновое обретшему. И чем более нового постигать каждый горазд, тем выраженнее меняется сей образчик роду людского, а чем шибче он меняется, тем шибче приближается к той черте, за коей он уже и не совсем-то человек, а существо порядку иного несколько.

Опять же, скажу тебе - не ниже и не выше человека повседневного, а просто - иного порядку, ако зверь какой, да только разумом не обделённый верхним, развитым и многозрячим. И вот аки ж доходишь до черты таковой, что далее, кажется, и идти-то некуда свершенно, далее видеться вообще всё некое другое значивается, совсем за пределами людского уже произлегает, то снисходит тут же великое смятение душевное, да и прорастеряешь покой на время аль навсегда от колоссальной несопоставимости ведомого тебе ранее и открытого внове.

- Что же, изволите ль узнать, святой старец Чурисий, мне снизойти может среди знания высшего и уму не запросто так достижимого, хоть и в миг любой придти могущего? Сколько лет на свете живу, а всё ж не приоткрывается. - монах говорил столь долго, что мне уж становилось, в некотором роде, даже невтерпёж от знания своего неминуемого приближения к постижению всех тайн Улум.

- А вот то-то и оно, что приоткрыться премноего способно, да, порою, не во всяко время. Точнее, время-то всяко, да рассудка форма не всяка, и оттого вынужден каждый, к знанию тайному бредущий, вылепливать облик ума, подобно тому, как скульптор лепит памятники

и статуи. Кстати, думку не думывали ли, господин Аркадий Геннадьевич, отчего словеса “бредущий” да “бред” друг другу засходны? А не с того ль, что бредущий по пути постижения должен познать и признать то, что дотоле ему бы лишь бредом сказалось, отвергнув с сим совместно бред обыденной жизни, кажущейся нормою свершенной в того лишь силу, что ранее никогда удумывать серьёзно не доводилось о том, что есть суть бреда и от коих корней и родников исток он несёт в человеке? И не является ли бред, что многие прочие в неуразумении своём словоблудием кликать могут, обратной стороною мудрости, в плоскости единою с оной мудростию лежащею?

Ведь всяк и сам не знает, что ему приоткроется, ибо способна раскрыться та бессчётность, о коей и сам-то ведать не ведаешь, да и знамо то не будет многим ещё долго, а ещё количеству большему - вообще никогда. На деле же самом, ведает всякий по сравнению с возможностью того, что познать способен, верно, никак не более понимания котятки новорожденного с тем в сопоставлении, что знает человек в миг, в кой сравнить решил знание собственное со знанием ему доступным. В том собака зарыта.

- Кажется, я начинаю сознавать, о чём Вы мне здесь сказ ведёте, отец Чурисий. Читывал я как-то раз у тех мужей учёных, что разум всё ведают да изучают, и звали в книгах своих они подобное оговоренному Вами “когнитивным диссонансом”.

- Да, звать Вы, господин, всяко можете сие Великое Смятение Ума, да толь не всяко едино полезно оно случается - у каждого своя полезность бывает. Одно более полезно для одних, менее - для других. Прочее же напротив - более полезно для других сказывается да менее для одних.

- Но сие уж из области наук физических нешто. Вроде “коэффициенту полезного действию” или чего-то того около. И отколь дело на то зашло, то и вся тема познания сути потаённой междометия Улум оказывается в опусах Ваших подобна постижению “коэффициенту полезного действию когнитивного диссонансу”, как мог бы познаватель разума мысль свою выразить соизволить.

- Вам, Аркадий, то, вестимо, более ведомо. Моё же дело малое - я миры лишь постигаю да простанства запредельные. Да токмо знамо мне и то, что наука вся сия физическая, она по пути ложному часто люд сопроводить алчет, ибо по пути сему и сама отправлена была с пор тех, как мужу учёному аглицкому яблоко об темя заударилось с ветки яблоневоу прямо. Мы ж говариваем аким образом? Есть дальний путь, а есть путь близкий, иль вот бытует запредставление, что, ведомо,

слон-то ж тяжёлый, а человек полегшее слона будет. А там, где становишься единым целым с междометием Улум, там никакого различия меж оными тропами, человеками и слонами не существует - и то есть едина первоматерия, и сё есть едина она ж. Тако, ведаешь, вроде свету солнечного, да только не от солнца дошедшего именно, а такового, из коего все мы и состоим.

Однако же в природе человеческой свет сей солнечный в образы оболочек кожаных, древесных да железных, в хлад и жар, в воду и пламя облачён оказывается, ибо ум наш таков, что делает свет сей чем-то отличным от него самого, раздавая повсюду имена. Но правкою имён великий обман его разоблачить способны, обернувшись вспять - туда, откуда исторгается свечение всего, заставляя нас идти в сторону странствующих теней. И свечение сие подобно сиянию Луны в ночь звёздную, ибо Луна, чёрная и несветимая по природе своей, кажется нам светочем серебристого блеску, хоть и мерцание то не от неё исходит вовсе, а ею лишь отражается. Так и сами мы подобны сонмам блестящих лун, чьё сияние не только им не принадлежит, но даже в них и не задерживается, тотчас же отражаясь извне - но лишь с тем, чтобы наполниться пламенем истока Вселенной соизнова - и отразить его вновь уже в слегка изменённой форме.

Отражённый свет Истока и есть наши жизни и, одновременно, Исток сей и есть вообще всё то, что мы только можем на протяжении наших жизней наблюдать вокруг себя. Выходит, что являем мы свет существования и, единовременно, его же отражение. Но в сём нет противоречия вовсе - миру мы являем его же свечение, хотя мир и не требует от нас ничего ему являть, да и вообще ничего не требует, а друг другу мы являем изменённые кривизной отражения того самого свечения, коими сами же и являемся, образуясь сразу из всего, что не мы. Как пузырьёк воздуху, покачивающийся в миг всплытия в толще воды обретает форму не собою, но лишь водами вокруг него, а всплыв, навеки оказывается слит с атмосферой окружающего пространства, так и мимолётность жизней наших образуется именно всем тем, что нас окружает, придавая нам формы, ибо для того, чтобы отражения могли существовать, им требуется всенепременно куда-то отражаться, иначе бы и породившие их естества оставались бы просто самими собой, будучи вечной сутью того, чем они и пребывают всегда в действительности.

Отчасти, тайну междометия Улум можно объяснить и как научение зеркал, поставленных друг супротив другу, перестать образовывать бесконечные коридоры иллюзий, или ещё как наука для пузырька не

касаться воды ещё до того, как он сольется с воздушными потоками и ветрами всей Земли. Для зеркал отражения - свойства, но не суть, равно и для пузырька сущность его в шаре из газа, а не тех водных границах, что шар сей показать вовне способны. Подобная внутренняя суть есть и для природы человеческой - и к ней именно ведёт постижение мига междометия Улум, к сему же и обрекаем путями всяческими. Всё из мига точки крохотной исходит - и в неё же возвращается. Вот человек, ако помирает он. Думаете, взаправду в рай иль ад попадает? Игра ума сии сказки все, лишь идеи пространств на полюсах, к коим ум человеческий тяготение имеет особенное. Какой там ад иль рай? Растворится человек в лучах света того, аки бы солнечного - и становится ничем, чем всегда и был изначально, расправляя и развязывая на ткани сущего котомку собственного рассудка.

Слияние в сиянии то ждёт всех и каждого, однако ж можно обманным путём, перехитрив самую природу, оболочку узелка своего сохранить - и тогда вместо слияния просто одна форма перетечёт в другую, приобретя черты новые - и существование продолжится уже в другом совершенно качестве, неопишемом и непостижимом до тех пор, пока мы здесь - и постигаемом единомоментно в миг слияния - но тогда бывает уже поздно. Маневр же в том, чтобы при жизни познать сие просветление смерти сполна - смерть не приходит к уже мёртвым, даже если мнит за таковых существа живые, существующие путём явственно миру расхожим от прочих.

Кто же междометие Улум постичь сполна сумеет, шансу обретёт не раствориться в повсеместном безличном океане бытию, а стать эдаким лучиком, из части коего взрастёт семя пшеничное, что перемолото будет на хлеб с плевелами и репейником в стране бедняцкой на землях дальних континенту африканского, и будучи скормленным малолетнему негрятёнку, вызовет у оногo несварение с просиживанием последующим долгих часов раздумий где-нибудь под пальмою ближайшею, что кокосы порождать способна. Вот что толку с того? По сути, постижение междометия Улум есть возможность всевеликая посмотреть на то со стороны, где каждый человек постоянно себя миру являет и там же находится, то есть до мелочей, былинкам глазу незримым подобным, смысл весь понять, вещей всех тех, кои для нас реальностью становятся. И созидаем мы таковых по привычке лишь, и знать не зная, как именно так, подобно сокращению мышцы сердца собственного иль дыханию во сне. Сколь прочее мы делаем неосознанно, то и реальность вокруг себя собираем столь же неосознанно.

- Что ж сие - ключ к жизни вечной? - я удивился настолько, высоко задрав брови, что стал, что называется, *semblable au singe anthropoïde* времён доисторических, а уголки губ моих изрядно окосели в изумлении огорошенной полуулыбки. Должен отметить, что Чурисий, всё же на показательно выраженный жест моей *la mimique* никак не отреагировал, продолжая рассуждать, размеренным голосом взвешивая, точно аптекарский подмастерье, каждое произносимое слово речи собственной, уверенно-неторопливой в интонациях.

- В мере определённой, говаривать можно и так, но самое главное, чтобы понять сие, Вам также нужно познать и сторону на противоположности, на изнанке лежащую, суть всю её вовнутрь приотворив храбро и да не убоившись ни на толику малую. Отколь всё сделано из сих же лучей, пронизывающих вкруг каждое, и все воспринимаемые три измерения, четыре стороны света, равно как вообще все точки, по коим человек ориентироваться в пространстве способен. На деле же солнце мира светит не куда-то, а напротив, как раз-таки вовнутрь самого себя и токмо лишь самому себе. Всяк из нас и есть солнечный зайчик, светилком тем порождённый, мыслям его уподобившись.

Когда его пьяные лучи, пересекаясь под самыми невообразимыми и невозможными углами, образуют промеж собой некую яркую точку, то она под непрекращающимися колебаниями движущихся лучей - ну видели, как ежи морские передвигаются, вот и здесь примерно подобное - обращается в нечто различимое глазу людскому. Вот дверью сей иль лежанко с сенцем, иль лампочкою керосиновой, мною ли Вами, господин, ибо мы есть точно такие же зайчики этого внутренне-внешнего солнца. - отец Чурисий поёрзал малость а месте одном, достал крынку, молока стакан налил и, прихлёбывая напиток маленькими глотками, продолжил собственную речь. - А поскольку светило сие есть лишь едино во Вселенной всей, то и содержимое его нутра от нас самих зависит ровно постольку же, поскольку и мы сами зависим от углов наклона лучей его - от того, как промеж собою пересекаются оные - то самое, что мы сущностию жизни и величаем.

Главное же в том, что все мы находимся в месте едином, но на всякого из нас лучи малость по-разному падают и, ежели желаем мы перескочить с луча одного на другой, то казаться начинает, будто бы мы идём куда-то, путешествуем, проще говоря, смещаемся во едино место относительно другого, хотя, на деле действительном, мест-то всего одно-единственное и есть в объединённом источнике всего - всепоглощающем сиянии начала жизни, смерти и вообще начал всех

начал. Переходя из места одного во другое, мы прикладываем определённые усилия, коими снабдить нас в путь-дорогу способны все те же лучи, и из коих же мы сами и состоим. А что сие означает?

- Что означает? - повторил я вслед за монахом, которому, кажется, удалось-таки меня вконец запутать.

- А! - хитро и многозначительно в который раз сощурился Чурисий, подняв вверх указательный палец. - А означает сие, что мы и есть тот самый свет, кой видим в расстояния качества. Вот, скажем, доводилось ли Вам, Аркадий Геннадьевич, некогда с Ярославля в Рязань кататься?

- Доводилось, батюшка, уж и взаправду бывало таковое. - хмуровато кивнул я, не желая особо вспоминать ту долгую и разухабисто-малоприятную поездку.

- Тапереча же, представьте, что дорога сия, это вот самое расстояние меж городами двумя, равно и сами Вы из тесту одного вылеплены, однако же, на то, чтобы проехать Вам путь сей из города да в другой, требуется усилие приложить немалое, а для того, чтоб Вы существовать бы изволили, усилие прикладывает как раз мира всего материя и способ тот, коим существует таковая во образе Истока всего. Точнее сказать, никто и ничего и низачем не прикладывает, оно существует постольку лишь, поскольку без прочего всего существовать не умеет, прочим же всем определяясь точно так же, как есть и Вы сами. И бытие сие даёт возможность быть и Вам, сударь также. Закон таков всемирный.

Вопрос соответственный во уразумении закона сего возникает, проявляясь. А можно ли измерять расстояние Вами? Вот сколько весу в Вас пребудет - и чем более, тем более материи включает, а тем более Вселенной всей лучей косых, падающих вовнутрь Вас. И так уж отколи дело обстоит, то разница меж весом человеческим и расстоянием от Ярославля до Рязани иль там от Петербургу до Москвы, с Оренбургу ль до Екатеринбург - не така ж велика в сути своего явления. Вот чем Вы, Аркадий, расстояние ль мерить изволите?

- Верстами. - уверенно кивнул я в ответ головой.

- Вот. Верстами. А можно расстояние не столь верстами, сколь пудами взвешивать - и точно так же наоборот, человека верстами теми мерить можно.

- Да как же, меня, например, верстами бы вы, старец, соизмерить порешили бы, если ж вот я и трёх аршинов росту не буду, пожалуй.

- Трёх аршинов можете не быть, но с верст по семь бывать обязаны-с, и не росту, отметить мне изволите ли, а весу во плоти телесной Вашей, сударь. Сие ж другое совсем. В объёмном представлении всяк составлен из трёх направлений разных, значится,

высоты, ширины да долготы - вона долговязы Вы сколь, отколь и трёх Ваших честных аршинов не будете даже. А то, сколь весу в Вас вмещается - совсем инаковое то слово да сужденье. Рост весом уже быть способен в плотность переведён, коя такмо же ничто иное есть, как суть силушка превеликая. Образуется таковая от энергий первородных, что “Ци” зовётся в стороне земель народу трудолюбивого да низкорослого, на востоке живущего. И подразделяется она на замеры перемноженные наполненности светом, изначально незримым существам человеческим, а наполненность та свершена быть долженствует каждым, кто преодолевает расстояния ширины, высоты да долготы собственных.

Вот кость игральная. - мудрый старец бросил на стол кубик, совершенно не вязавшийся образом со скитом аскетствующего монашества. Впрочем, разве ж не люди все эти отшельники и *ne se distraient pas* ужели вовек никогда что ль? - Зришь ли, весу в кости с золотник будет - и вся она не более, чем сила ж её, а плотность такового есть энергия же на энергию и подразделённая - ту из оных, что способна, быть может, полдюйма в длину преодолеть да перемноженные на сии же полдюйма, да не просто так ишо, а по три разу. И когда поймёте Вы ль окончательно смысл измерения расстояния пудами, а весу аршинами да верстами, вот тогда-то сумеете Вы, сударь, постичь междометия Улум суть самую внутреннюю, а коли постижение сие озареньем снизойдёт в Вас, Аркадий Геннадьевич, едины будете с Улум и безраздельны столь, сколь и всегда везде безраздельны уже, да не постигли токмо знания сего всяко не умом, но вчувствованием телесным.

Размышления и измышления монашествующего отшельника мне начинали даже казаться прелюбопытными - старику и вправду оказалось не столь уж сложным запутать мой ум, ране несколько натренированный в делах толку мистического. Зато смысл возвышенных *le discours* его принялся понемногу доходить до штиля, царившего дотоле на поверхности моего подуставшего осознания. Чурисий решился, тем временем, провести меня малость за пределы принадлежавшей ему и ради него же отстроенной обители, сообщив напоследок слов несколько *sur les plans* насущных дел:

- Нам в самый раз постичь пристало те самые вершины мироздания, что к вечности иль прочему желаемому привести готовы алчущего оных искателя тайн о междометии Улум.

- Вот неплохо ль было сие проделать тотчас чудно ритуал трюкаческий. - усиленно закивал я. Отец Чирисий вперевалочку и

покачиваясь с боку на бок, отправился тот же час в сторону дубовой двери собственной кельи, отпер её и попросил следовать за ним. На улице ко времени окончания беседы нашей уже изрядно так поистемнело. Над головою в таинственном тёмном *le velours* небес вспыхивали, подмигивая нам, сочные драгоценности звёздных глазков небес поздней осени. Шквальный ветер срывал с деревьев последние листья, в деревне же тревожно и судорожно, будто шепеляво откашливаясь, выли собаки, точно поперхнувшиеся именно собственными костями, зарытыми под будкою в то время, как в самих будках оставался их эфемерно-пёсий святой дух, отчаянно хранивший срубные дома, тонувшие во тьме пепла, оставшегося после догоревших костров промозгло-туманного заката, сбивающегося буклями клубящейся темноты под порогами трухлявых крестьянских землянок, откуда выползало ленивое и толстое шевеление тоскливой сырости, принимая формы всех возможных суеверий народных, о домовых, банных да леших сказующих.

И мнилось мне, как в шатких сих хижинах убогой и неухоженной Мелихово-Чухонеевки, сидят на струганных лавочках лапотные дедушки возле натопленных русских печей да сказ говаривают преданий старинных собравшимся вокруг малым ребятам - и блики лучин играют жёлто-оранжевыми всполохами пятнышек на их конопатых лицах, соломенных волосах и голубых глазах, пока из-под дедушкиной бороды выползают медленные, как дымок табачной трубки, и скрипучие, как чуланные дверцы, слова полузабытых преданий, растапливая в тепле задушевной беседы юные сердца их и скрашивая неуютное завывание ветра в печных трубах медовым жаром сокровенной мудрости фольклорных преданий. И в миг сей почудилось мне, что такова и вся Российская Империя, что в мой *progressif et civilisé* девятнадцатый век живёт по обветшавшему укладу старинных народных обычаев, представлений, круговой поруки и раболепного услужения всему роду дворянскому, происходя из коего, я никогда прежде мгновения сего задумываться не соизволял о дикарстве и противоестественности царящих повсеместно нравов, ибо к крепостничеству, пять сотен крестьян в услужении имеющие, привычен был с появления на свет самого, но даже позапрошлогодний закон императорский от девятнадцатого февраля мало что успел поменять как в сознании самих крестьян, так и в сознании помещиков.

И все мы продолжали следовать нашим самодержавным традициям в то время, как крохотные государства, на континенте европейском едва ютящиеся, всю уже использовали энергии электрические с силою

пара совмещённые, задумывали, как свершать снимки моментальные картинам, писаным краской масляною, на замену будущую, и о том соизмышляли, как бы силу руд магнитных во благо человеческое приструнить. Уральский же край же наш губерний Пермской да Оренбургской являл собою точно бы тот околоток, единою лишь силою выплавки металлов да самоцветов добычею держащийся и средства денежные имеющий, за коим начинались безрадостные хладные пространства ссыльной *Sibérie* - и виделись земли родные мои вечным стражем меж Западом и Востоком стоящим, цепями горных вершин, кряжей и уступов прикованным к месту собственного обитания - более тёплого и благодатного, нежели угрюмые и неплодородные губернии вечной мерзлоты к востоку, и более дикого и неухоженного, чем деловитые и густонаселённые обиталища народные, к западу от земель моих лежащие.

Что ждёт Российскую Империю в веке двадцатом, через полвека, через век? Обретёт ли она цивилизованное *la noblesse et la prospérité* в вечном и непоколебимом правлении Императорского дома семьи Романовых, подобно величию стран Англии и Франции или погорязнет в распрях и раздорах, как делящие богатства бандитские колонии за океаном, объединившиеся лишь для виду, а на деле же являющие поразительный образец республиканского хаоса и рассредоточенности, уже два года как утопающей в угольно-чёрных волнах недовольства и волнения негров, массово порабощённых и на силу привезённых из Африки этими бесчисленными некогда европейскими отбросами общества, убоявшимися суровой кары в собственных государствах и позорно сбежавшими за океан в мечтательных поисках лучшей жизни, но для того лишь, как оказалось, чтобы постреливать друг в друга, отменно сокращая численность собственного грабительского отродья где-нибудь в землях Техаса, либо же насмерть окоченевать в золотоносных хладных ручьях и речушках приполярной Аляски. А, может, с нами и со всей Империей случится что-то ещё, о чём я и помыслить не смею за скудным *par l'imagination* своим во всём, что относится к представлению быта лет будущих? Что век грядущий нам готовит? Я не знал ответа на сей пространный вопрос.

От раздумий тягостных сих меня несколько поотвлёк сумрачный контур Чурисия, мелькавшего вдалеке постольку, поскольку, замечтавшись, я имел неблагоприятное, в некотором роде, поотстать от старца, опасно не учтя возможности вовсе потерять оно из виду в сгущающихся потёмках приближающейся полнолуной полночи. Яростные порывы воздушных нисходящих потоков относили шумный и

повсеместный собачий лай куда-то вдоль угольно-зазубренной стены леса, видневшегося острыми хвойными пиками непроглядного мрака в некотором отдалении за пределами гранитной монашеской обители. Я следовал за Чурисием и пытался обмыслить всё услышанное от старика. Смышление сие образовывалось как-то не очень *effectivement*, в гимназии и получше бывало, кажется, зато я и вовсе прекратил измышлять о всех тех думах тяжких, что последовали с самого начала визита к старцу и обратился к светлыми и по-детски жизнерадостным воспоминаниям лет гимназического обучения.

Учитель выводил каллиграфически верные кракозябрины мелом на доске, а я носился между парт, грохотал вёдрами, раскачивался на люстре, как мартышка, дёргал за косички девчёнок-однокашниц. Вспоминал я и о том, как прятал или вовсе выкидывал, опасаясь последующего наказания за все деяния свершённые, стоявшие в углу каждой из учебных комнат розги, потихоньку намыкающие в ведре с водой для пущего качеству проводимого воспитанию. Впрочем, избегать таковых мне редко удавалось.

И много ещё припоминалось мне премилого и забавного в следовании за Чурисием, но, отметить надобно, что слишком уж надолго отвлечься от мыслей мне так и не удалось, поскольку совсем вскоре старик последовал под мрачно-тёмную кромку ночной чащи, куда мне идти отнюдь даже не возжелалось, но всё же, влекомый любопытством, я, превозмогая и всячески ругая себя в мыслях за столь постыдную для воспитанника родового дворянства сиюминутную слабость опасения *et la peur*, всё же продолжал сей сомнительного свойства путь за монахом, мелькавшим предо мною в некотором отдалении своей покачивающейся белесой спиной, облачённой в мешковатую грубоотканную рубаху.

Чрез срок времени малый осознал я, что иду по чёрному, как мелкая сажа, лесу, уже совершенно Чурисия не наблюдая, а то, что я только что принимал *illusoirement* за спину старца, оказалось просто простиравшейся под ногами лунной дорожкой, ощущение покачивания коей создавалось от моего быстрого, почти переходящего на бодро-боязливый бег, пешего ходу в окружающей непроглядности и прохладе чрезмерной степени усиленности. А то, что воспринял я за его проплешину, отсвечивающую под лучами ясных, как в обсерваторном зале, созвездий, оказалось низко висящей над линией горизонта преогромной масляно-жёлтой Луной, расположившейся прямо по курсу лесной тропинки и светившей мне прямо в глаза.

В это момент, к стыду своему признаю, что стало мне вконец жутко.

От пронзившего каждую из моих стынущих жил ужаса сел я под ближайшей елью, начиная зазывать надрывно не своим голосом, точно паникующий перед экзаменом школяр: “Чуриисий! Чуриисий! Батюшкааа! Куда же ты сгинул в час ночной, дикому лесу лишь меня оставив?” Монаха, вестимо, нигде не было, точно он растворился просто предо мною посреде всего обступившего меня плотную стеной жутчайшего свойства пейзажа, где под каждым деревом и кустарником мнился ложно поблескивающий угольками глаз *le monstre* иль грузный зверь хищный, зубатый и шерстию свальянной клочьями обвисающий, покуда от меня клочья такие же точно не останутся здесь. Крючья древесных сучьев, бахрома хвои, свешивающиеся заросли древ так и норовили оказаться то волком, то медведем, то ещё невесть каким-нибудь лешим.

В лучшем случае - белкою иль бурундуком малым, коих в темноте дворянину тоже повстречать бывает порою преопасно, ибо сушая жуть снисходит, поджилки трясутся и сердце наружу выскочить велит от самого облику беличьего средь ветвей подмеченного да взгляду бурундучьего из-под куста бузины, дерезы иль ракиты, ух зело сурового взгляду. И здесь я, к посрамлению своему, сполна предавшись помыслам панического толку, принялся бежать со всех ног, куда глаза глядят. А глядели они всё же на ту самую безликую, безличную и безразличную к судьбам человеческим полную *la lune*, свысока и пусто взиравшую на меня внимательной хладностью, как зрачок хищника, со своих бриллиантово-обсидиановых перин безоблочной полусферы осенних небес полуночи. Я изредка смотрел назад, и всё мне чудилось, будто издали гонится неких шорох наитайственнейшего свойства, а кусты шевелятся повсюду, где токмо было возможно и даже невозможно им шевелиться, топорчатся морды, носы и оскалы пастей.

Однако ж, несмотря на все, верно, небезосновательные в сложившейся ситуации, опасения, никто из зверей чащи лесной, на деле, в округе не объявлялся и нападать также не стремился - да я и ведать не ведал, велик ли был лес и водились ли в нём взаправду *les bêtes sauvages*, кроме всё тех же белок, сновавших в округе то туда, то сюда, прогибая и пригибая ветви с разных сторон. Прошло совсем немного времени, и принялась постепенно покрадываться волнами накатывающая усталость от бега, производимого подобным образом, когда вдруг резким и неожиданным движением ума физически почувял размытие и смутность, накатывающие на окружавшую меня чащу. Ощувив очередной прилив *de la terreur* я оглянулся и узрел, что за мною гонится некое страного образу существо, подобное тюленю со

снятою кожею и пульсирующими кровеносными жилами на поверхности. Точно, как и тюлень, было оно неповоротливо и медлительно, и посему вскоре удалось от него оторваться, а в следующий же миг нечто похожее на удар тёплого воздуха в лицо заставило меня остановиться, чему сопутствовала необычайная *le jeu* чувственных преобразований, точно бы я налетел в беге своём - нет, не на стену, а на нечто мягкое и упругое, уподобившееся незримой оболочке воздушного шару, тотчас же взорвавшейся в клочья с дичайшим посвистом, отдавшимся звоном в ушах.

В сие же мгновение обнаружил я себя на залитой солнечным светом поляне, а приглядевшись открыл практическое отсутствие стволов древесных вокруг. Точнее, не было глухой и тёмной ночной пуши: впереди простиралась узкая просёлочная тропинка, зримо и качественно прохоженная каретами и повозками, верно, часто проезжающими в здешних краях. Вокруг произрастали невысокие кустарники то ли ив, то ли карагачей, особо я не приглядывался к оным. Удивлению, снизошедшему в сей же час, всё же не было предела: место сие отнюдь не было тем самым и в том самом времени, где я только что бежал в страхе, нагнетённом глухойюи зарощенною *par l'atmosphère de l'humeur de la forêt vierge de minuit*. Оно не просто было не тем же самым, но вовсе являло некие романтически-синеватого облику предгория или даже сами горы, заметно выдававшиеся вдали - верстах в десяти иль в пятнадцати, переходившие в едва заметные и потому подобные низко висящим облакам в кажущейся своей полупрозрачности высокие пики острых гор, столь неожиданных для взору, пообвыкшему к покатым лесистым вершинам хребта Урала.

Горы же, подле коих я имел изумительный случай явиться, скорее уж заставляли любое бойкое воображение помыслить об острых заснеженных зубцах гор Альпийских, столь детально и сполна представленных ещё в гимназические годы на уроках, великому суворовскому переходу посвящённых. Вершины точно так же, как и Альпы, упирались в небо покрытыми шапками первозданных снегов, подобных стылой стружке сладкого молока, приготовляемого к праздникам в погребах по всей Российской Империи, иль же уподобившихся хрустящему сахарному насту *le bonbon fondant* с весенних пасхальных куличей. Пейзаж сей являл бы собою знатный образчик для идиллических ландшафтных картин эпохи романтизма полувековой давности, если бы не был столь реалистично запущенным и неухоженным, заметно отличаясь от нарочитой хаотичности столичных дворцовых парков, где размещения всякого цветка, куста иль

камня были, на деле, тщательно продуманы лучшими художественными умами Империи, а то и вовсе гостями *des pays occidentaux*, приглашённых высочайшим повелением ради создания кажущейся природности там, где оной не было уж более, как лет с полтора ста.

Та растительность, что окружала меня, вовсе не походила на травы и колосья степей, но и лесом поименовать оную также язык не поворачивался: невысокие кустистые заросли, перемежающиеся с частыми полянками, покрытыми густой ярко-зелёной травой свойства самого наисочнейшего. Поразительное изменение свершлось и со временем года - из осени я точно переместился в жаркое и солнечное июльское пекло лета. В красках лазурной выси над теменем проплывали кучевые облака, клубящиеся в вечном изменении форм на протяжении всего своего существования, так что трудно было заметить тот момент, в кой одно одно облако превращалось в другое - или оно, на самом деле, существовало всегда лишь наикратчайший миг, в следующий же тотчас перерождаясь уже в другое облако другой формы. Так и мы, подобно вышним облакам, всякую секунду уже не те же самые, что были только что - меняются мысли, чувства, телесные физические ощущения, настроения рассудка и хваткость ума - а с нею тысячи и тысячи прочих измеримых и неизмеримых показателей, так что явным становится одно: каждый из нас - точно такое же *le nuage informe* свойств и характеристик, коему не принадлежит и коего не объясняет даже самый процесс изменения тех свойств и характеристик, ибо процесс сей производится не сам за счёт себя, а посредством возможности воспроизводиться, всецело основываясь на аспектах общего процесса бытия.

Так и любое возмущение ума не есть иное, нежели разглаживающаяся волна от начертанных символов на воде - пройдёт её крохотное время, и вот уж на зеркальной глади вод не останется совсем ничего, засвидетельствовать могущее недавний разгул разума, тщетно пытающегося всколыхнуть полотно *des forces spatiales*, тогда как разум сей не иное, нежели блики и искажения этого самого полотна, колышущего самое себя под давлением ветра. И мнится тогда, что ветер сей прилетел вмиг, дабы рябь на водах тех обустроить, аже иначе дело обстоит - не ветры волны те всколыхнули, но сами волны, в глубинах вод порождённые, создали и ветры, в головах людских сложив лишь морок понимания связей причин и их следствий, тогда как истинное положение дел рассудку вконец недостижимо.

Но я продолжал свой путь и уже вскоре обнаружил вышедший из-за дальних пиков гор слепящий *le globe du soleil chauffé*, пронзающий

светом настоль, что мне даже пришлось слегка прикрываться от сего сияния козырьком вытянутой в лист ладони. Куда направиться теперь - сие мне было абсолютно неясно, посему я подумал, тем временем: “Эх, как было бы здорово, если б сейчас в краях здешних объявился бы некий возница”. И тотчас же, как по мановению волшебной палочки *du prestidigitateur*, со стороны, оставшейся у меня за спиной, подъехали двое кавалеристов, сидящих на одной лошади. Зрелище, воистину, нелепое: если бы каждый из тех усатых вояк полу-гусарского облику имел по лошади, иль если бы таковой оказался всего один, то выглядело бы сие даже по-своему благородно, но, поскольку их было двое и практически неотличимых друг от друга, точно братья-близнецы, тяжёлых и жирных в общем-то на молодой и неокрепшей кобылке, то производили они целиком и полностью впечатление комически-цирковое, словно Дон Кихот и Санчо Панса, если бы последнему вдруг вздумалось слезть со своего ослика и взобраться на крестец лошади своего покровителя за тем лишь исключением, что здешние кавалеристы толщиной были, как Панса, а высотой, как Кихот.

Узрев бравых вояк, я принялся отчаянно кричать им вослед: “Постойте, постойте, остановите лошадь, люди добрые, не изволите ль вы ещё и меня подвезти хоть немного?” Только они остановились, я тут же взобрался на самый *le croup du cheval*, коромыслом прогнувшейся под весом троих немаленького размеру наездников. По неизвестной мне причине, вояки не произнесли вообще ни единого слова - похоже они были утомлены предыдущей долгой беседой во время, по крайней мере, не менее долгого и утомительного пути, то ли просто не склонны к общению человеческому, но сии господа даже не поприветствовали меня, рьяно рванувшись с места галопом вперёд, и столь же, не произнеся ни единого звука, принялись набирать скорость.

Прошло совсем немного времени - и лошадь оторвалась от земли, поднявшись на приличное *la distance*. Скакун нёсся стремглав прямо по воздуху, а под копытами на расстоянии никак не менее тридцати трёх аршин, а то и всех сорока, проносились верхушки оставленных где-то далеко внизу усыпанных листьями кустарников. Держаться было неудобно, и у меня от огромной скорости и столь же немалой высоты начала кружиться голова, но прямо предо мною не было видно вообще ничего по единственной причине: весь обзор перекрывал затылок заднего из “гусаров”. Тогда я попросил сидевшего предо мною *du cavalier*, которому я и дышал прямо в гладко выбритый препротивного виду затылок его, как-нибудь повернуть голову так, чтобы не

загораживать весь лежащий пред глазами ландшафт. Наездник принялся вертеть головою в разные стороны и, в конечном счёте, нарушив собственное равновесие, свалился с лошади и, так и не издав ни единого звука, полетел в левую сторону, каретным колесом кувыркаясь в воздухе по направлению супротив часовой стрелки и безвольно болтая руками, ногами и головою так, как будто уже пребывал в обморочном состоянии. Быть может, оно и впрямь именно так обстояло, но за всё время собственного падения кавалерист продолжал оставаться непреклонно беззвучным, долетев в итоге до верхушки какого-то ближайшего куста приземистых размеров, что не мешало ему оставаться широко раскидистым - как кусту, так и упавшему с летучей лошади военному.

Прошла ещё пара минут - я уже и сам вертел головою по сторонам не хуже упавшего военного, разглядывая окрестности - вокруг и взаправду пышела краса пылкой природы, лику просто непередаваемого на словах, речь лишь может в подобных случаях указывать на жалкие эскизы, кои рисует наша способность к внутреннему представлению, по сравнению с истинным восхищением от действительно окружавших меня чудных мест. Вдали тянулись ярко-сине-голубые *les montagnes*, запредельными цветами сияло небо, сущими смарагдами переливалась зелень далеко внизу под кобылой, как вдруг я понял, что уже не на кобыле сижу отнюдь, а на том двухколёсном средстве передвижения, что пользуется популярностью немалой в Лондоне и Париже, составляет росту воистину немалого и зовётся *la bicyclette*.

Впереди не оказалось уже никакого кавалериста, а это я сам вцепился обеими руками в каучуковые ручки руля, рьяно проворачивая педали по кругу подошвами сапог. Велосипед, как известно, есть новый и модный вид транспорту, распространявшийся в последнее время всё более и более в крупных городах, и достигавший высотой, наверное, не менее четырёх аршинов в переднем колесе, тогда как его колесо заднее было куда как поскромнее и составляло в диаметре едва лишь всего с аршин единый, а то и поменьше даже. И вот я, восседая на сём *le monstre de fer*, только что ещё, кажется, бывшем лошадьё, мчался навстречу далёким горам, увиденным мною сразу же после перехода предивное место сие. От маразматически-делириозной абсурдности сложившейся ситуации - я безвестно где со скоростью преогромной еду высоко над верхушками кустарников по воздуху на велосипеде - меня разобрал *le rire homérique*, почти что театральный.

Я ехал и залиvisto просто покатывался со смеха от практической

невозможности всего, что со мной происходит, но именно в сей же самый момент мне почему-то пришла в голову идея о том, что завершающий итог поездки мнится неизвестным, а ещё через пару минут велосипед внезапно провалился в тёмное пространство без выверенных и однозначно зримых границ. Ещё вскоре я вдруг обнаружил себя стоящим уже безо всякого велосипеда посреди роскошной картинной галереи, напоминающей наш столичный *le Ermitage*.

Прямо под ногами обнаружилось моё собственное тело в лежащем положении и раздетое в яркий парадный лоснящийся угольно-чёрный смокинг, белую рубашу с кружевами и галстук-бабочку. И тотчас же раздались чьи-то шаги, показавшиеся крайне и крайне неудобными в сложившейся ситуации. Стоя рядом с собственным телом я опасался неведомых последствий, если тело сие будет обнаружено, а посему было принято решение куда-нибудь его сопрятать, как говаривают в народе, от греха подальше. Схватив лежащее на полу галереи тело, я пощупал пульс: тело моё второе - иль, наоборот, первое - явно было тёплым, чуть приглушённо дышало, а *la pulsation du sang* в жилах также прощупывалась, однако оно не шевелилось и не подавало вообще никаких иных признаков жизни. За сим я как можно быстрее затолкал собственное же кукольно-обвисшее на моих вторых плечах тело куда-то под стол, поспешив покинуть необыкновенное помещение сквозь ближайший же парадный вход.

Взору вдруг предстала ещё не столь уж давно виденная буквально до отправки к Петру Игнатьевичу *le panorama de la ville natale*, что никак не вязалась и даже при желании не могла бы увязаться со только что покинутым образом *de l'Ermitage*. В открывшемся городском пейзаже было почти всё как и всегда, за исключением единственного момента: посреди низеньких деревянных и кирпичных теремов и изб высилось невероятное многоэтажное здание, казалось, упиравшееся в небо - такие не строят нигде в мире, и неизвестно ещё, построят ли когда-нибудь. Являло собою здание полосатый короб белого бетона да чёрных стекольных прослоек окон, похожее на растянутого от земли и до небес охотничьего кота-мышелова. Опять-таки, дом сей, в граде моём родном ранее не виденный и за краткий *la période* отсутствия моего отстроенным быть не могущий, смотрелся настолько нелепо и дико, что тотчас вызвал же у меня новый приступ смеху.

Я побежал по улицам совсем неподобающим для дворянина образом, и вскоре же узнал, что обрёл новую способность подпрыгивать высоко, очень высоко, легко взбираясь по воздуху и проносясь над крышами не

только одноэтажных, но даже и трёхэтажных построек в центре городу, потирая руки от радости, вызванной неожиданными событиями, свершившимися за столь недолгий временной *l'intervalle*, но добежав до дома не мог не отметить, что преспокойно прошёл насквозь через входную дверь, даже просто и не обратив внимания на оную.

Тотчас мне сделалось жутко: что же это такое творится-то? Тогда я принялся вновь взывать к святому отцу Чурисию, но безрезультатно - никто и не помыслил откликнуться на неистовый зов мой. Следующим открытием стала возможность, прикладывая небольшое усилие воли, действительно мерить любое расстояние: одна мера воли требовалось на перемещение аршинов тридцать длиною за мгновение лишь единое, но и на триста аршинов мог я пролететь вдаль за тот же миг и прикладывая волю отнюдь не в десять раз большую, как можно было бы помыслить, а ту же самую, что требовалась и для перемещения на тридцать аршинов. Очередное открытие поразило меня до самой глубины души, ведь расстояние обратилось для не в то, чем казалось ранее, а лишь в категорию приложения усилий. Но и плотность собственную ощущал я не как нечто материальное, а как *le degré de l'intensité* понимания самой сути себя, того *du fait*, что я существую, и эта внутренняя содержательность обращалась в раскатывающееся изнутри сотрясение тела всего тем ярче, плотнее и выраженнее, чем более явственной была насыщенность моего внутреннего самосознания.

Вполне можно было судить о том, что между уровнем чувствования себя, понимания собственного существования и степенью раскатывающихся изнутри *des vibrations* не было никакой разницы, за исключением наличия двух сторон воззрения на свершающееся и наблюдаемое явление сие, да и то - стороны эти были всецело и полностью сокрыты в сути моей, а не где-то за пределами сути той лежащие. “Так вот ты какая, сущность междометия Улум!” - восклицал я, но с каждым словом голос становился всё более смутным и смазанным до тех пор, пока изо всех слов, какие бы я ни пытался произнести не получалось бы единое лишь: “Улуууууу! Улуууууу! Луууууууу! Улууууууу-улууууууу-улуууууууу! Лууууууу!!!” И тогда я окончательно убедился, что не я постиг сущность междометия Улум в силу того лишь, что эта сущность междометия Улум и есть теперь я сам.

Хотя, с другой стороны, момента, в кой прекратил я быть Аркадием Геннадьевичем и стал Улумом, уловить всё же никак не удавалось. То ли это был момент, когда я перестал видеть перед собой мудрого старца

Чурисия, то ли миг, когда ночной лес обратился залитою солнцем поляной, то ли - когда увидел собственное тело со стороны, то ли во время прохождения сквозь двери в собственном доме. Ответа на поставленный самим же собою вопрос я не ведал, а монашествующего отшельника, у коего можно было бы поинтересоваться и кой, как был я почему-то уверен, всенепременно должен знать ответ на вопрос о мгновении перехода *de la condition du noble à la condition de l'interjection*, повстречать я отныне возможности также не имел.

Первой меня в новом моём облике заметила сестра, пришедшая домой с улицы. Когда я попытался подойти к ней и приветственно приобнять её, то у меня вырвалось всё то же “Улум! Улум! Улум!”, а руки прошли сквозь неё. Сестра пристально посмотрела в мою сторону, побледнела буквально на глазах и, пронзительно и исступлённо закричав, тотчас выбежала на улицу, даже забыв запереть дверь за собою. Следующим живым существом, заприметившим меня, был мой *le chien aimé domestique*, жалобно заскуливший и свернувшийся калачиком под роскошным чугунолитейным стулом высшего качества, принявшись изредка со страхом поглядывать в ту сторону, где я расхаживал дома по гостиной зале взад и вперёд. Ещё не более, как чрез две недели, все вещи из дому были вывезены родственниками в неизвестном направлении, а окна и двери заколочены навек. Так мне довелось обратиться в местную достопримечательность.

Les citadins мой дом отныне обходят за полверсты, как минимум, а суеверные старушки крестятся, лишь едва завидев сию постройку по улице чрез весь город. Оно и неудивительно. Ведь дом пользуется дурной славой *de l'habitation avec les fantômes*.

**Белоусов Роман,
09 октября 2015 года**